

ВЫБОР СУДЬБЫ

экран и
сцена -
1997 -

-6-13
жогт
-с.6-
4



Теперь уж не пишут статей о поэзии Андрея Вознесенского – и звезда литературной критики Вячеслав Курицын вряд ли станет уделять ей внимание. Те же, кто пришел 22 октября в Зал Чайковского, как видно, одинаково любили ее в свое время. В то, еще советское, время, когда Вознесенский был для нас единственным поэтом страны, когда сборник его стихов был самым вожделенным приобретением, а каждая его строка казалась откровением и заучивалась на всю оставшуюся жизнь. (Кстати, как в конце 60-х, в 70-е и начале 80-х, во времена беспроектного книжного голода, добывали выходящие его книжки? Когда появились “черные” рынки и спекулянты – то у них, если, конечно, эти операции удавались. Ну, и само собой – библиотеки, в которых сии драгоценные сборнички отслеживались, вылавливались и безжалостно похищались; да, и никого это тогда не могло остановить, поскольку альтернативы не существовало. Альтернатива была только: иметь или не иметь? “Оля, что тебе подарить на день рождения?” – “А синий трехтомник Вознесенского раздобыть сможешь?” – диалог 1984 года. С тех пор, как вы догадываетесь, этот синенький и стоит у меня на полке. Ну, а рядом – остальные сокровища: черное, в коленкоре “Ахиллесово сердце”, серо-желтый “Взгляд”, блестящий зеленый “Выпусти птицу!”, красные “Витражных дел мастер” и “Дубовый лист виолончельный”, целлулоидный “Соблазн”, мягкий серенький “Безотчет-

Вечер

Вознесенского 22 октября 1997 года

ное”, коленкоровый коричневый “Проробы духа”, пестрящая газетным шрифтом “Аксиома самоиска”, и это не все). Да, он был **единственным**. На его поэтические вечера в ЦДЛ прорывались с боем и жесточайшими ухищрениями.

К осени 1997 года любителей поэзии заметно поубавилось. Спокойный, без ажиотажа, зал был даже частично пуст. В фойе продавалась его новая книга “Casino “Россия” в белом, с золотым тиснением, переплете – на авторский гонорар за которую публику в антракте (О!) поили шампанским. Даже в этом отразился бег времени, не только в иссякнущих плотности и напряженности зрительного зала. Лишь вы, Андрей Андреевич, все тот же, почти все тот же: в черных джинсах, синем батнике и белом блейзере, со своими вечно-мягкими “ч” и “ш”, с детской улыбкой именинника и ладонями на поясе; и, как всегда, с магической властью над нами.

По объективно, читалась смесь совсем нового, тексты которого забывались им тут же и на ходу восстанавливались по свежей книжке, и старого (точнее сказать – хрестоматийного), знакомого нам до мурашек под кожей. Того, что сами мы знаем до тонкостей, в разных вариантах переделок и уточнений (“За упокой Владоцкого Владимира...” в 70-е публиковалось в виде “...Семенова Владимира...”, и так далее). А между теми стихами и этими – (банальное) целая жизнь. Те – помнят наизусть, “подпевая” из зала (“Аве, Оза. Ночь или жилье...”), эти – подхватывать уже некому. Да, между ними – целая жизнь, причастным к которой, все эти

строки помня, себя чувствуешь.

“Достигли ли почестей постных, рука ли гашетку нажала...” Сии строки – это наше время и мы сами, и отражение нас самих. Вся моя московская жизнь прошла под ритм его стихов и все веки жизни выстраивались рядом с его стихами. “Прощай, мое лето, пора мне, на даче стучат топорами...” “Вечером, ночью, днем и с утра благодарю, что не умер вчера”. Мне казалось, что именно благодаря его стихам я как-то держалась в жизни, в Москве, в этом чужом городе, в котором необходимо было выжить. И он всегда был где-то рядом, и следы его поэзии были рассыпаны на этих улицах повсюду. Москва – это, во-первых, он и его стихи. “Когда в полночи бессонной гляжу на фриз полубесовский, когда тоски не погасить...” “Запомни этот миг. И молодой шиповник. И на Твоем плече прививку от него”. Сидишь в читалке и умираешь от счастья над его строкой. И он не только “уносил ввысь”, но и “держал”, давал дыхание. И это, конечно, личное дело каждого – кому и каким путем. “Я год не виделся с тобой. Такое же – и все другое...” В его поэзии для многих хватало места, хватило и для меня. Кто-то из моих ровесников прошел абсолютно мимо его поэзии (к ним я всегда ощущала враждебность), а кто-то, как я, ею дышал и держался. Вот для таких его стихи превратились в цитаты.

Сейчас – ну конечно – его нравственный пафос 60-х и 70-х, переходящих в 80-е, кажется неточным, восторженное простодушие и некоторая неизощренность рифмы – наивными. Но пафос лирический пронзает даже из самых забытых лет: “Когда я придаю бумаге черты твоей песнопеньной красоты...” “Не возвращайтесь к бывшему возлюбленному, бывших возлюбленных на свете нет”.

Сегодня он, посмеиваясь, создает инсталляции, видеомы и тотально закольцовывает слова. “Casino “Россия” все построено на этой неумолимой модели – питающей интерес выживших фанатов его стиха. Не дожидаясь конца вечера, некоторые зрители группами покидали зал. (Деталь, невероятная в 70-е, в эпоху поэтического бума, ставшего нашим национальным мифом). Рядом же со мной сидела десятилетняя девочка, которая, впившись взглядом в сцену, просидела, не двинувшись, оба отделения.

На другой день я разговаривала по телефону со своим приятелем, режиссером Женей Денисовым. “Жень, была вчера на вечере Вознесенского”.

Женя, без паузы:

Ну что тебе надо еще от меня?

Чугуина ограда. Улыбка темна.

Я музыка горя, ты музыка лада, ты яблоко ада, да не про меня!

Я, в унисон с ним:

И вздрогнули складки, как створки окна.

И вышла усталая и без наряда.

Сказала: “Люблю тебя. Больше нет сладу.

Ну что тебе надо еще от меня?”